

Юз – это язык.

Или юзык.

Юный, юродский, юлящий...

Язык его может показаться чрезмерным, избыточным, но что точно – живой азартный жар неиссякаем.

Союз подворотни и кафедры филологии, шконки и гамака, в котором покачивался яйцеголовый старец, сочиняя свои ответы дерзкого сорванца.

Возможно, получилось самое подробное интервью Алешковского за всю его жизнь. По крайней мере, процесс нашего длительного диалога он обозвал «делом весьма интересным впервые в жисти».

Каждодневная, а иногда ежечасная переписка только ради этой беседы продолжалась больше месяца и состояла из десятков писем. Ответив, он затем снова и снова менял ответы.

Вовсе не шлифуя уже написанное и не замечая торчащей опечатки или небрежных падежей, иногда что-нибудь отрубая, но больше дополняя. У него все время возникало желание словесных ответвлений. Или этого требовал сам язык. В случае Алешковского язык – царь и бог, которому служат и острый интеллект, и страстная душа...

Получилась поздняя проза. Особенно при ответе на вопрос «О чем вы размышляете?».

Впрочем, и по поводу ранней его прозы Битов замечал, что она писалась «скорее как письмо».

Алешковский пишет точно бы во хмелю. Бурный поток, в котором перемешаны речи персонажа и автора. Монологи (и прозаические, и песенные) ведутся от чужого имени, из чужой роли и доли. Мания и магия – сатирично, но и с горечью последней прямоты перевоплощаться в других. Через язык. Не просто артистизм, а какая-то веселая и отчаянная самоотдача без остатка.

Потому и нельзя в полной мере определить: высмеивает ли он другого, под него стилизуясь, или, даже когда пишет от чьего-то будто бы совсем отврат-

ного лица, все равно говорит о себе, себя смиряя жгучей исповедальной самоиронией?

О чем бы я ни общался с ним помимо этой беседы, пускай о бытовых пустяках, мне становилось все яснее: он так упоенно заигрался с языком, что уже оброс кожей своего обобщенного героя.

Но кто поручится, что и в этом интервью мне отвечал не очередной его персонаж?..

Когда-то Бахтина умилил его стишок, который вспомнил в интервью и сам автор:

*А низ материально телесный  
у ней был ужасно прелестный.*

Но ведь «у ней» – это и «низы» страны..

Метафизика карнавала, когда по-бахтински и по-алешковски низ телесный и низ социальный взмывают, эрегированные внезапным поворотом.

А еще приходят на ум Рабле, Галич, Бабель (именно в такой последовательности).

Может быть, ему просто тесно внутри канона. Может быть, все видится через опыт неволи? Поэтому и язык беспокойный и буйный – то изощренно приклатенный, то экспрессивно новаторский – и так бешено высока доза фантазмагии. Мечта, тоска, безумие того, кто трясет решетку реализма и бьется о жанровые стены. Этот герой-рассказчик, как определил Бродский, «всегда бывшая или потенциальная жертва уголовного кодекса», тот, кто «тискает роман».

Что, между прочим, относится и к авантурным мальчишкам первых книг Алешковского для детей.

Его суждения обо всем на свете размашисты и пылки, конечно же, подгоняемые языком.

Алешковский неистово клянет советское, особенно Сталина, при котором сидел, однако язык его произрастает из той эпохи, из гущи советской жизни. И герои его – оттуда. Повествуя о них пародийно и подлинно, в том числе обращаясь к собственной «трудной судьбе», он словно бы в новых вариациях продолжает строку известной песни: «Кто был ничем...» Он до сих пор переживает по поводу вывихов и уродств исчезнувшего строя, как давно выросший ребенок, который никак не может примириться с родителями. Впрочем, и обличительная категоричность, пожалуй, берется из того же духа эпохи. Недаром он, не щадя себя, признался мне, что от его круто антисоветского романа «Карусель» «попахивает кирзовым соцреализмом». Даже в будто бы обидном прозвище Союза – Мурлындия слышится какая-то семейная нежность. Занятно, что, покинув страну, английский он толком не освоил, как объясняет, чтобы не изменять русскому.

А вообще язык его – свой и больше ничей, свободный и строптивый, независимое государство.

Юз Алешковский силен тем, что я бы назвал – невроз независимости.

Его литература по-прежнему способна шокировать ударным аморализмом и щедрыми матюгами, но одновременно наперекор среде и моде он стал чадом Православной церкви, не принял 90-е с их криминальностью, обругал «Пусси Райот», а из Коннектикута жадно стремится в Крым...

Ярче всего этот благословенный невроз явлен через язык.

Шаманский, страдальческий, праздничный, уносящий в вихревое кружение мысли и чувства.

Юзык.

– Иосиф Ефимович...  
– Зовите меня просто Юз.  
– Как самочувствие, Юз? Как себячтите (ваш неологизм) в девяносто один год?  
– Да так, внешне молодцевато, но старость, конечно, не радость в моем 92-м, особенно когда башка пуста, душа весела, а телеса – то ли в грустной печали, то ли в печальной грусти.

Великий Оскар Уайльд полагал, что трагедь у нас, двуногих, в том, что временное (надеюсь, очередное) тело ветшает, а душа остается вечно молодой, уверен – бессмертной.

– Выпиваете иногда? Видел тут ваше бодрейшее фото с вискарем на день рождения...

– Алкашовским я не стал – спас мой ангел, но с юности очень даже любил принять на грудь чего-нибудь, что покрепче портвешка. В неволе одеколонили, табачным дымом забывая запашок «Курортного», «Тройного» и т. д. А в старости че-то пропадает желание с ухарской восторженностью поддать с друзьями, с Ирой, с гостеванами. Но вот день рождения... я же все-таки не старая горилла: всегда готов шарахнуть для начала «Белуги» полстакана – всегда!

– Есть ощущение, что манера речи ваших персонажей передалась и вам. Это литературная игра или уже привычка? Вы ведь можете по-разному...

– Конечно, могу, но я рос во дворе среди безвредных шухарил, хулиганья и мелкого жулья, по фене ботавшего, а в первый же день войны – беды народной, – держа в зубах папиросу «Беломорканал», получил по морде от дядьки за вопрос, о чем по радио трезвонят. Вообще-то, сочиняя, скажем, роман, просто не могу не сообщать речугам персонажей естественности. Матюганы как-никак больше, чем свойственны, работягам, крестьянам, спортсменам, физикам-теоретикам – почти всем простым смертным, кроме детишек. Три десятка персонажей – тридцатка различных речений.

Курить я не бросил и в Омске, когда отец и ушел на фронт, а мамаша устроилась бухгалтершей на мясокомбинат. Тогда все пацаны были безотцовщиной.

Папаши у некоторых имели броню, «воюя» машинистами паровозов и прочими незаменимыми в тылу профи. Оброс сибирскими словечками, звал матушку в разговорах маханшей, папашу – паханом, тырил уголь со стоявших у депо паровозов, взрезал, прицепившись с пацанами к платформе грузового трамвая, мешки муки, поскольку доставала голодуха; научился жарить оладушки и драники, угощал которыми раненых на фронте вояк, лежавших в соседнем госпитале; позже узнал, что этим же занималась Инна Лиснянская в далеком Баку.

Менял свою птюху хлебушка на семечки и самосад. Кроме того, нормально учился в школе, слегка овладел духовым инструментом – баритоном; таскал для маханши на коромысле пару ведер колодезной водицы, причем несколько раз в день, кроме того, втрескался в пятом классе в Любу Ерошкину... я это все к тому, что жисть крутилась в такой вот лингвоатмосфере, что я затрекал, словно шустрый мужичок, и в конце концов приболел: врачи нашли у меня какой-то зловещий инфильтрат левого легкого. Слава маме, что спасла меня, обменивая на рынке потрясные свои тряпки на маслице, курятину, курагу и сметану, – спасла. В ту зиму я и прочитал «Трех мушкетеров», пару томов Жюль Верна, «Тили Уленшпигеля», буквально перевернувшего душу, и много чего другого. Кстати, сам себе я довольно тупо замастырил тату: свеклообразное сердце, уже в Москве вновь пронзенное стрелой, о чем жалел на штатских таможах, где нашу тачку яростно шмонали, принимая мою тату за приметку мафиозника.

– Теперь «треканье» Юза Алешковского – предмет изучения литературоведов. Вы ведь общались и с Бахтиным.

– Я мало о себе думаю, потому что, к счастью, не нарцисс. Наоборот, придумал словечко «эговно», так что я не «эговнюк». Поверьте, не ведаю, что я за стилист. Музам не нравятся самохвалы, самопознанные и псевдонимбы. А с великим страдальцем и огромным ученым общались мой крестный Сережа Бочаров и бывший одноклассник Кожинов. Однажды я провожал с ними Бахтина на вокзал. Сережа попросил меня, очарованного его потрясающей книгой, прочитать пару свежих озорных строк. Я и «декламнул»:

*А низ материально телесный  
у ней был ужасно прелестный.*

Грусть старческую враз смыло с усталого лица М. М., и он молодо улыбнулся. Сие тоже забываемо!

– Вы сидели в лагере с 50-го по 53-й. Он вам снится?

– Странное дело: за много лет мне буквально ни разу не снились ни тюряга, ни лагерь. И я никогда, да, да, никогда не пытался понять – почему?

Видимо, душа полагает, что образ неволи так ей омерзителен, поэтому недопустим ни в благодные, ни в страшнейшие из сновидений.

Точней, моей, пока еще отличной дальней памяти, лучше знать, как фильтровать массу событий, вот уж десятый десяток годочков ставших поучительной частью моей судьбы.

– Но разве что-то из лагерной жизни не вспоминается?

– Один вроде бы рядовой случай не то что не забываю – я живу с ним, он мне такая же до гроба поддержка, как наш великий и могучий, как лики родины, пережившей, к сожалению, много чего и еще переживающей, даст Бог, еще пережившей, скажем, бессознательно коллективное, совершенно богохульное употребление благородного слова «блин», подлейше вдруг заменившего старинное прозвание заблудшей, блудящей и т. д. женщины. Кстати, я придумал кликуху деревенскому донжуану – Трахтор.

Пардон, отвлекаясь.

Так вот, была зима, цвели дрова, и пели лошади на крыше, верблюд из Африки приперся на коньках, купил я лыжи на высоких каблуках.

Чьи-то, возможно, Хармса, веселые строчки как-то унимали холодрыгу в бараке, и нам, экам, было это в масть. В сортир бегали, когда терпеть не было уже сил, потому что параша в бараке, причем без всяких занавесок... о, как бы она ни была необходима всем без исключения нуждам эков, пожалуй, один только ее внешний вид, само собой «унутренняя» смердная вонища казались гнусным неразумным извращением нормативно человеческого отношения к жизни, как-никак имевшейся у необразумленных виноватых и у совершенно невинных виноватых эков – сравнительно разумных двуногих, не опустившихся до жалкого прохиндейства.

Словом, я помчался в сортир, где адский морозец прибил привычное смерденье до основанья, а затем... затем на ржавом гвозде я не увидел привычных обрывков «Правды». На гвозде висела мятая-перемятая страничка из черт его знает как залетевшего сюда журнала «Америка». Любопытно ведь полутруп, если не читает что попало в сортире, когда он в этом заведении печально одинок.

Ясное дело, я присел и перечитал конец нобелевской речи американского писателя Фолкнера, тогда мне неизвестного.

Он с таким мужественным достоинством говорил о том, что ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЕ, что я запомнил три этих слова на всю свою остальную житуху. Я их не обдумывал, они просто спасли меня от тяжкого у-ны-ни-я, от пребывания в тупике НЫНЕ, – в бессмысленном настоящем, по моей же вине изматывающем меня непомерной тягостностью терпения и ожидания лучшего будущего.

Передачек на Дальнем Востоке от мамы с папой я не получал. А вот подарок, точней, волшебное снадобье для снятия вируса унынья, получил от сэра Фолкнера на всю остальную жизнь!

– Да, это мощно: спасительный Фолкнер в лагерном сортире... Возможно, вам был подан знак, что из заключения вы выйдете писателем. И ведь в лагере у вас родились первые песни?

– Да, это так. Первой была «В такую погоду на печке валяться»... Подключаю вас к премилому куплету песенки второй:

*Прощай, жилая Зона, этапные вагоны,  
бригадиры и прозрачный суп!  
От тоски по женщине будет сумасшедшим  
Поцелуй моих голодных губ!*

Остальные, Сергей, мои песенки то об этом, то о том – их немного – начириканы на воле, и опять-таки химия-биохимия их заделки совершенно мне неизвестна, сие – дело литературоведов.

– То есть у вас нет ответа, как они возникли, эти легендарные песни, тот же «Окурочек»?

– К сожалению, мне не открыты таинства возникновения ни в нейронных сетях серого вещества, ни в блистательных фокусах его биохимии образов стишка, повестушки, романа. Думаю, образы возникают еще до буйной, порою страстной работы сознания, потом они одаряют тебя вдохновением, восприняв его, ты сообщаешь, скажем, стишку, как черешку яблоньки, волшебную энергию сказочно быстрого роста в высоту небесную да в ширь земную, ну и зачинаешь, естесно, родишь, ну и выращиваешь на почвах горького опыта и, разумеется, райского чернозема сладчайший плод совокупления чудесной формы с интересным содержанием. А вообще-то, самое, казалось бы, очевидное и простое имеет обыкновение наглухо закутываться в плед таинственности. А уж та, как невероятно игривая дама, становится вдруг то сложнейшей, абсолютно непознаваемой, высокомерной, то доверчиво открытой, смешливой, снисходительной.

– А вас приговорили за дело?

– Да что говорить! Дело-то тянуло всего на пару недель гауптвахты. В те времена сажали, фактически, бросали в рабство – за решетку – даже колхозников обоих полов за вынос с поля пары дюжин картофелин.

– Вы сидели за угон...

– Конечно, тачку секретаря обкома мы увели, за рулем сидел мой дружок – моя это была злосчастная идея, – иначе опоздали бы на поезд, кроме того, я орал «Полундра!» и размахивал ремнем с якорной бляхой, угрожая патрульным Амурской флотилии, – словом, слава богу, что не волок я свой срок в стройбате.

Что бы там ни говорили и как бы всех эзков ни доставали наказание и тяжкий труд, горький опыт, все-таки тюряга и лагерь полезней для экзистухи, она же существование, чем трудовая солдатчина, гнусная дедовщина и безнаказанные изгильяния живоглотского офицера.

– Вы как-то сказали об опыте свободы в лагере. Что это значит?

– После работы, как бы то ни было, у меня было свободное время, я мог читать, а когда привозили какой-нибудь фильм, смотреть, к примеру, «Судьбу солдата в Америке» или просматривать в культчасти газеты с журналами – хавать, как говорили, от пуза матушку-культуру, мачеху-политику. Я или валялся на нарах, или прогуливался по зоне, сочиняя стишки. Иногда сидел над тумбочкой – кропал их, записывал мыслишки – я был вольной птичкой в тесной

клетке, – мне никто не мешал чирикать что хочу и как хочу, из башки моей враз выдувало неимоверно нудную тягостность глыбы времени, остававшегося до освобождения – до свободы.

– «За мужика простого» предлагаете вы выпить в одной из песен. Можно сказать, за Ивана Денисовича, вашего солагерника.

– Мужиков в тюрях и лагерях всегда было намного больше, чем урок, сук, жулья, доходяг, настоящих ублюдков и убийц. Крестьяне, «пролетарии», заводские и фабричные трудяги, рабочие, служащие... Многие из них были людьми в натуре культурными, интересными, рассудительными, начитанными, остряками и весельчаками. Правда, о политике старались «не трекать» из-за большого количества стукачей на душу населения в бараке. С мужиками, именно с ними, а не с урками, можно было поболтать о всякой всячине житейской, о тоске по женам да невестам, о бесчеловечности сталинских властей, ну и насчет «картошки-дров поджарить да о яичном порошке». Был у нас в бараке смешной малый – единственный, на его взгляд, российский богатырь, который сидел за х..., а все остальные сидят не за Х. То есть на пленуме обкома партии он забрался на сцену Дворца культуры, быстро снял портки и бесстрашно направил на весь президиум того пленума свое выразительное хозяйство.

Хохот и бурные продолжительные овации долго стояли в бараке. Кстати, за неоднократный пересказ «подвига» урки ему подкидывали махорочки, хлебушка, сахарка. А еще помню мудрые советы одного пожилого политического насчет стилия выживания в неволе, но я давно забыл его лицо.

– А с урками вы общались?

– Однажды я спросил у одного видного неглупого урки, державшего лагерь, как бы он со мной себя вел, если бы до этапного вагона неделями не доходило ни грамма «бациллы», а из жрачки – только хлебушек, сахарок и жалкая шелюмка, она же суп-рататуй с соответственным эпитетом и всесильной рифмой.

Урка моментально ответил: «Ты бы хавал только четверть своей птюхи, и никакого не положено тебе сахарочка».

«Но я же, – говорю, – врезал бы дуба!»

«Ну и что? Ну и врезал бы. Хрен ли тебе жить? Ты же не человек, не вор, ты ништо, никак и нигде».

От слов и жутковатой логики урки мертвенно смердило чудовищным бездушьем, большим, чем от «самого демократического правосудия в мире». Ведь в те времена народ-победитель «девятую облыку без соли доедал».

Сажали толпами, кого попало, ради скорейшего восстановления страны: даже девчонок-официанток за вынос из столовых оловянных тарелок с бацильной жрачкой – для отощавших больных детишек, или родичей, доходивших после войны от недостатка хлебушка, мяска, рыбки, маслица, колбаски.

– Бацилла на фене – это пища?

– Ага, но, разумеется, не лагерная... Баб и мужиков сажали за кражу с поля пары колосков, за «вредительские» прогулы, а массу людей – за опоздания на работу. Зато повсюду висели фуфловые заверения: «Ничто не забыто, никто не забыт!» – такой вот был быт, лукаво объясняемый сытыми говорилами «исторически, дорогие товарищи, необходимой». Это тоже незабываемо.

– Ну фраза это все-таки более поздняя, насколько я знаю, из стихотворения Ольги Берггольц 1959-го. Кстати, говорят, связанная и с ее арестантским опытом. А вот хрестоматийное: «Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе...»

– Во-первых, не мою, а чью-то, кажется, партпоэта Суркова, «заразную» строку горланит не хитромудрый автор, а персона песенки...

– Михаила Исаковского...

– Во-вторых, раз уж так, ее герой – Ирония, от которой разит преступлениями «большого ученого», безнаказанно погубившего миллионы невинных россиян – несчастных жертв ряда его трагически тупых «всемирно исторических стратагем, дорогие товарищи».

А когда Генеральный Кашей, к счастью народному, изволил откинуть дьявольские свои копыта, пардон, копытца, я бегал по зоне и восторженно орал во всю свою глотку: «Гуталин врезал дуба!!! Гуталин врезал дуба!!!»

Так вот: Бог хранил – никогда я тирану не верил: тошнило от идолопоклонства перед чертилой, с понтом вождем всех простых людей доброй воли нашей планеты.

Причин такой к нему ненависти было полно: и в подслушанных разговорах податых соседей из коммуналки, и в оккупированной Латвии, где мы с мамашей и с братцем гостили в воинской части папаши, ейного главного интенданта, стоявшей в крепости города Крустпилса. А в классе русской гимназии, где я неохотно учился, соседка по парте Анфиса, дочка бежавших из России родителей, не раз беззлобно говорила мне: «Всех вас скоро покидаем в нашеньскую Двину».

А тюрьма и лагерь, землекопы, трепы шоферни родного гаража и дважды по 15 суток в Бутырке?

Чего-чего, а проклятий в адресок большого ученого, как говорили в бараке, нахавался я до «немецкой отрыжки». Тем более после того, как Гуталин врезал-таки дуба, люди, особенно «постоялы» в ЦДЛ, моментально осмелели. За публичные уже не сажали мнения насчет былой ежовщины и вечно обсиравшегося госплана...

– Вы говорите о большом количестве стукачей в бараках. Но когда кричали «Гуталин врезал дуба!», не боялись, что могут накинуть статью?

– В те дни забыли все мы о страхах и опасениях. А надзирали не ведали – рыдать им от горя или стрелять поверх вражески злорадствующих врагов, рябит ихнюю гладь совсем.

– Некоторые ваши песни, как известно, стали народными, и в них все время добавляют варианты. С каким чувством это воспринимаете?

– Вот, вот – сие всегда меня смешит: народ, выходит, значит, в день полочки, на поляну, хлобыстнет по стакашку водяры с пивом, затем ударчиками по бутылке сам себя настроит на вдумчивое песнопение и, разумеется, хором, напевает, скажем: «Товарищ Сталин, вы большой ученый» или «Ах, окурочек, может быть, с Ту-104 диким ветром тебя занесло», – так, что ли?

Но вот когда иной шустряк бездарно калечит авторский текст – это бездарнейшее, непростительное хамство.

В общем, химия-биохимия превращения, неясно с чего и почему напетых куплетов, плюс еще большая неясность вдруг возникшего в башке сюжета, совершенно мне неизвестна. Вот кто-то из шибко поющих девушек или парней заражает новой песенкой податых субъектов вечеринки или студенческого общежития, возможно, разведя в лесочке костер полночный, – ну и понеслась: «Да за горькую, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь!»

– Разве вас это не веселит?

– Если по чесноку, автору, то есть мне, все это весьма приятно, и я от души благодарен Музе всех текстов и сюжетов наших с ней песенок, скорей, грустных, ироничных, сатиричных, чем просто веселеньких, тем более сам-то я давно уж на свободе и век не забуду лукавый чей-то лозунг «Искусство принадлежит народу!».

– А что еще вас радует?

– Меня, то есть нас обоих, радуют наш дом, наш сад, наша банька, интересные книги, плоды земли, пельмени, докторская да ветчинка в русском мага-

зине, талантливые фильмы, не обсериалы, друзья, надежные товарищи, флора и фауна творенья высших сил, именуемых Богом, Создателем, Творцом жизни на Земле, в небесах и на море. Всего не перечесть. Когда возмущают различные дела-делишки на мировой арене явно неразумных двуногих, печально вздыхаем: «Кто жил и мыслил, тот не может...»

– **«В душе не презирать людей...»**

– Я даже объявление придумал: «Помогаю тем, кто не может, а также не хочет, ношу чужой крест в удобное для вас время. Желательна предоплата».

– **Сейчас вас тема тюрем и лагерей, российских и американских, не занимает?**

– Мои нервишки не выносят ни американских киношек о нравах и садистичных делишках в штатских тюрьмах, ни журналистских расследований жутковатого быта в новых российских лагерях.

– **Не было желания вернуться в Россию?**

– Навсегда – никогда, хотя воспоминания о Родине не вянут ни в сердце, ни в душе. С въедливо навязчивой ностальгией незнакомы ни Ира, ни я. Покойный мой дружок, мудрейший Дод, иронично говаривал: «Старик, ностальгия изводит только тогда, когда у тебя есть почти все, кроме нее!»

– **Вы предсказывали в перестройку, что в постсоветской России верх возьмут урки. Как вы это просекли?**

– Просто не один я, познакомившись с историями мировых мафий и с нашими неглупыми, безжалостными, бездушными урками, почувствовал в самом начале перестройки, что именно они, а не внешне законопослушные охلامоны обосравшейся партии, примкнувшей к задростанному правительству, обладают энергией властного, не терпящего сопротивления разворовывания уже не фантастично богатеньких деловиков-черновиков, а многочисленных богатств родины, жалковато валяющейся после обширного инсульта, вызванного «исторической необходимкой» паралича развитого социализма, конечно же, нам подброшенного гнилым империализмом.

– **Мне кажется, недавняя ваша песня «Ресторан Жульен» отлично передает скотское роскошество отечественных бандитов и нуворишей.**

– Мерсибо за лестный отзыв. Иногда интересно пошалить с блатной и полублатной феней – со словесностью двуногих, исповедующих так называемые понятия, пожалуй, более крутые, чем идеалы анархизма.

– **Вообще, насколько я знаю, по поводу постсоветских перемен настроение ваше неворосторженное?**

– Любую революцию считаю большой переменной между неусвоенными уроками истории. А ведь в начале 80-х началась не переменка, а катаклизм всей системы, называвшейся СССР. Я следил за происходящим, приезжал несколько раз, обрел во вздыбленной стране новых чудесных друзей.

Что-то восторгало при Горбачеве, потом был Ельцин, который в Ленсовете, в антракте, вняв, каюсь, моему совету, «развязал», и все мы с Главным и с актерами – коньячка шархнули за Россию, за свободу, за лучшую жизнь.

– **Прям развязал?**

– Саша Абдулов познакомил меня с замечательным Марком Захаровым. Смотрели сладколенинскую пьеску «Дальше, дальше...». В антракте Марк собрал в премилом подвальчике кое-кого из актеров, Ельцина с его Наиной, Сашу и меня. Разливая по рюмашкам коньячок, наливаю и Ельцину, который был еще далек от президентства. Наина тут же накрывает рюмку: «Никогда!» Борис Николаевич очень мягко, но с алмазной твердостью отвел ее ладонь: «Наливай!..»

Я и налил, а он с удовольствием жажнул. Во взгляде Наины был явный упрек: «Вы себе не представляете, что сейчас наделали.»

Вскоре представил – и не могу этого себе простить.



Естественно, многое вызвало недоумение: рост преступности, мафии, мошенничества, повсеместно крепнущая коррупция, пирамиды, продажность ментов, главное, роковое унижительное безденежье, вдарившее почти по всем гражданам, и много чего еще.

Даже далеко от родины, при просмотре прессы, ТВ, просто волосы становились дыбом даже под мышками – к сожалению, там стало вам вдруг не до восторженных митингований, свободы печати и т. д.

Вместе с тем пошло-поехало разворовывание всех богатств страны, взятой за «горлянку», точнее, понеслася заветная Тройка – уходи с дороги, мериканы, – дерьмократ, с дороги уходи!

Горько об этом говорить.

Что дальше ждет родину? Ну, я не Вольф Мессинг и не болгарская тетя – Штанга?.. Манго?.. Танго?..

Я всегда сочувствовал россиянам и молился за то, чтобы всё в стране установилось, тем более наливались – то в стаканы не только самогон, но и весьма разнообразные, порой паленые водка, виски, коньячки и прочие спиртные напитки.

Так или иначе жисть в стране, что называется, заметно стабилизировалась. Следуете «Вперед!» по пламенному призыву Гоголя (том второй «Мертвых душ»).

Кстати, не могу не сказать несколько слов о первом в России призыве «Вперед!!!». Перечитывая «Мертвые души», я совершенно изумился: это был призыв, явно впервые в Истории обращенный ко всей мыслящей России, – еще не скупленной в городах, бездорожной, далекой от какофонического скрежета «Музыки Революции», – стране, привыкшей к труду крестьянскому и к старинному житейскому быту.

Никак не пойму, почему о паре страниц из бессмертного романа Гоголя – никогда и нигде буквально ни словечка. Видные гоголеведы как кочумали, так и кочумают, а паразиты пропагандизма весьма странно не вопили и не вопят о политико-героическом авангардизме великого писателя – почему, дамы и господа, почему? Надеюсь, загадку эту разгадает со временем какой-нибудь въедливый профи. Разгадает, несмотря на поразительно феноменальное ВЫТЕСНЕНИЕ сей загадки так называемым коллективным бессознательным.

– Специально нашел эти пылкие, взывающие к национальному чувству слова в черновике второго тома. «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек».

– Да эти слова, но загадка – то в том, что они замалчивались и замалчиваются.

– Хочется поспрашивать о вашей судьбе. После лагеря вы работали грузчиком, землекопом, шофером на целине и на «аварийке». Я слышал, что шоферили целых одиннадцать лет. Чувствовали в себе литературные желания?

– Дела давно минувших дней. Пару дней ишачил грузчиком матрасов, на них нас с напарником вез старинный газик на разгрузку. Отвратная работенка – уволился. А землекопствовал, что странно, не без удовольствия, не отставал от здоровяков, так сказать, играл лопатой, полной мягкого песочка, заделывал опалубку, загорел, как потом в Крыму. Охотно вспоминаю сей простейший опыт.

С детства чумая от любви к легковушкам, автобусам, грузовым ЗИСам, за три месяца кончил школу шоферов и долго работал, как говорили дружки, на ис-

пано-сюзие Юза с Мосгаза. На самом деле Мосводопровода. Потом проработовал на стройке нового дома для работяг гаража этого треста. До этого водил фургон Мосхлеба, набитый ситным, украинским, батонами и прочими булками, пока не врезался в ворота гаража, случайно нажав на педаль тормоза, то есть газанул, козел, на всю железку. Выгнали с работы.

Затем отправился на казенном грузовике собирать первый урожай на алтайской целине. Думал, все это и геройство, и долг, и подхалтурить можно, перевозя колхозникам дровишки из леса, мешки картошки с ихних огородов и т. д. Но вокруг процветал совковый брак мадам бесхозяйственности с вечно бухим многоликим безобразием.

В сердцах залихватски обматюгал секретаря райкома партии за нехватку бензина, деревянных лопат, укрытий зерна от дождя и много чего еще необходимого для спасения первого урожая.

Приперся следак, завели дело о хулиганском отношении к руководителю коммунистов района, велели ждать повестку в суд.

– **К арестантскому сюжету вам было не привыкать.**

– Я же, боданув за гроши свою тачку парню, угробившему свою «Коломбину», свалил в Барнаул, иначе загремел бы по новой в лагерь. Там, в гастрономе, познакомился с симпатичной дамой средних лет. Пару месяцев я с ней, с одинокой, по-гегелевски кантовался, простите уж за каламбур. Потом наша шоферня притырила меня под пароходной лавкой – так я, подлец, предатель, свалил и от приютившей меня дамы, и от боровка, мечтал полакомиться которым, и от горячей лежанки на печке.

– **Вы начинали с детской прозы. Это был заработок или вам нравилось?**

– Первые рассказы для детей не были для меня просто заработками. Друг Плисецкий, отличный поэт Плиса, почитав «взрослый» мой рассказ «Лежать на сырой земле» (он пропал, хотя его напечатали в мытищинской газетенке), Плиса смешно сказал, что какого я хрена не напишу для «Семьи и школы» что-нибудь такое, чтоб читатель позабыл отравленные дни, не знавшие ни ласки, ни запоя.

Кстати, работал я сутки, трое был свободен. Так что, днями-ночами ожидая вызова на аварию в сети или на проверку состояния труб под землей, я много читал, что-то сам почирикивал, частенько забивал «козла» с работягами. В общем, именно такое времяпрепровождение стало началом моего знакомства с любимейшей из Муз – с Музой Прозы.

В башке мелькнули очертания сюжета, я вдруг почувал, что не просто чирикаю, а радуюсь возвращению в детство, почти что позабытое, мало когда вспоминаемое. Рассказ я назвал «Папа бреется», он был принят на ура, гонорар пропит с Плисой и с одним из редакторов.

Журналы «Пионер», «Костер», первая книжка, она же «Кыш, Два портфеля и целая неделя», «Мосфильм», вторая, еще одна «Черно-бурая лиса», потом «Кыш и я в Крыму», сериал на ТВ, радио, членство в ССП – словом, я сказал «прощай» баранке, часто пропадал в ЦДЛ, бедная мамаша радовалась, что не такой уж я идьет-тупица, как дворовой мой друг Мирза, случайно попавший под электричку, – сын крутого ассирийца, короля чистки обуви, шнурков и качественного гуталина.

– **А правда, что, написав своего «Николая Николаевича», монолог от лица щипача, то есть карманника, текст, которому сейчас бы дали маркировку 18 с жирным плюсом, вы поняли, что уже не бывать вам детским писателем?**

– Да, да, да! Обдумывать подобные проблемы я не любил – просто почувствовал, что вырос из коротких штанишек. Сорвал с себя ненавистные штрипки, точней, запело-заиграло во мне дружное трио «Мандолина, гитара и бас».

потому что именно с этой концертной песенки оркестра Эдди Рознера я еще отроком втрескался до гроба в музыку джаза.

В общем, возвратиться в детство, к тому же третий раз, – увываньки, после «НН», было невозможно, пардон, не проханже.

– С кем в Союзе вы общались, дружили из литераторов?

– С Андрюшей Битовым и его второй женой Олей Шамборант были мы многолетними корешами. Еще до знакомства с ним дружил с великолепным поэтом Володей Соколовым. Ему родной его дядя, тоже поэт, много чего рассказывал о терроре в 20-х. Дядя тогда просто помирал от ужаса перед неминуемой посадкой, стал неизлечимым неврастеником. Он, видимо, под балдой, сочинил злосчастную частушку, потом неосторожно прочитал ее даме, крутил роман с которой, и пошли-поехали, полетели по всему припугнутому Союзу его под-расстрельные, бессмертные строки:

*Вышла новая программа  
срать не меньше килограмма.  
Кто насерит целый пуд,  
тому премию дадут.*

Дяде редкостно повезло – не посадили, к стенке не поставили, как Гумилева. Разве не чудо?

– Вы уехали в пятьдесят лет в 1979-м. Правду ли говорят, что отъезд случился из-за «Метрополя»?

– На посиделках метропольцев ни разу не был. Только из-за этих дел, да еще один, – быть может, никогда бы не свалил, а с женой, – Ира и я всегда мечтали пожить на свободе и бесстрашно думали лишь о ней – хоть на край света! Тем более после «НН» я необратимо повзрослел на различных почвах опыта житухи да по уши втрескался в «истнеобходимку» сделаться поданным лишь моих владык: безоглядно свободного воображения и русской словесности, уже достаточно изуродованной никемами, ставшими всемами, ихней зверской цензурой и алчными халтурщиками всех мастей. О, да, я просто не мог не сделаться верноподанным обоим замечательных владык, тем более хватало опыта восприятия абсурдов жизни в сюрреальной, как говорили лагерные социологи, совковой Мурлындии.

Каюсь, однажды близкий дружок, поднявшийся в агитплакате на разных предупреждалках, вроде «Остерегайтесь юза!», уговорил меня предложить редакторам для начала тематический проект в двух строках, он, мол, стоит дороже твоей вшивой полочки. Я пришел на заседание. Был представлен как автор, способный безжалостно воевать с любыми нарушениями техбезопасности. С выражением, похожим на апломб с амбицией, я прочитал принесенные строки, казавшиеся мне совершенно убойными.

*Держась за конец оголенный, мудила,  
смотри, чтобы тожом тебя не убило!!!*

Редактора сказали: «Гениально!» Я был добродушно изгнан с похотавшего заседания и больше никогда не пытался халтурить.

– Да вы, говоря нынешним языком, мастер троллинга. А правда, что Василий Аксенов не стал печатать в «Метрополе» вашу песню о Сталине?

– Да он весьма меня этим удивил. Видимо, счел текст ультраантисоветским.

– В одном из интервью вы говорите, что в этой песне не было ничего антисоветского...

– А переспросить: «Чего это, Васек, ты так неартистично перетрухнул?..» – сие было ниже моего достоинства.

– И говорят, с Высоцким вы познакомились впервые, когда он пел на пляже эту вашу песню?

– Да, я был обрадован, что величайший, на мой взгляд, певец заметил ее, поет своим, так сказать, всенародным голосом.

К сожалению, общались всего пару-тройку раз: в его театре знакомство, банька, премилые разговоры в его квартире, – естесно, под балдой – с ним и обаятельной Мариной.

– А с кем общались в эмиграции?

– Это долгий разговор. Со многими был знаком отличными людьми. Некрасова и Мамлеева уважал. Ира и я дружили только с четой Капланов, с Бродским, с Лешей Лосевым.

– Прежде чем приступить к этой беседе, дабы не повторяться, я прочитал беседу с вами Бродского для американской газеты Bookworld. А ведь он крайне редко брал интервью. Что вам запомнилось в том разговоре?

– Только то, что надрались вусмерть, беседуя о разных проблемах порядком шизанутой истории и смакуя холодец домашний, мною замастыренный.

– «Там – истинная жизнь нашего языка», – говорите вы Бродскому про Россию. А за годы эмиграции не ощутили языкового оскудения?

– Я с ленцой отнесся ко владению инглиш. Не от того, что считаю себя необучаемым, но из-за суеверного страха вызвать гнев родного русского – гнев, карающий за измену оному. Мой русский стал, считаю, даже более разноликим, способным предельно просто выразить некоторые сложности.

– А вы, кстати, суеверны?

– Знаете, я в юности стал шибко суеверным, потому что вычитал у Гете, что суеверие – поэзия жизни, поэтому поэт должен быть суеверным. Но я не истеричен, когда прошу Иру не класть на стол подушку, – сие очень хреновая примета, очень.

– Вы верующий?

– Сергей, ваш тезка Бочаров – мой крестный папаша. Да, я уже давно глубоко верующий человек, но говорю о религии, о церкви и т. д. лишь с Ирой и Батюшкой.

Вера началась с того, что дворовое наше кодро заточили на праздничные дни в подвал отделения легавки, она же милиция. Маленькое полуподвальное окошко выходило прямо на храм Божий, а я встал однажды на колени – лоб об пол, молю Богородицу выпустить меня отсюда. Нам тюрьмой грозили, грозили, но вскоре вышибли на свободу. С тех пор не перестаю радоваться, что верю, надеюсь, люблю и ценю эти свои чувства, да и мысли тоже.

В первую же нашу поездку в Иерусалим мы с Ирой поехали на тачке кузена в знаменитую церковную обитель. Гидом был известный местный литератор. Позвонили. Наш гид почему-то умолял меня не уподобляться вздорному папаше братцев Карамазовых. Хотел я его послать в целый ряд известных маршрутов, но к нам уже шли навстречу, видимо, настоятель и его коллега. Оба были обаятельными старцами, стали мы с ними знакомиться. Гид чо-то опять напрягся, будто слепнем укушенный, а я говорю: «Это Ира, она была мне дочь, сейчас жена»... О, Боже, вздрагиваю, с чего это я закармазил? Гид заиграл желваками. И вдруг явно старший старец радостно – да, радостно, ни молекулки фальшака! – произнес: «Чудо!» С таким восторгом и радушием он слово это произнес, что аж всего меня – душу и тело, истерзанное в прошлом безжалостной гиперактивщиной, – вновь окатили те же, как в Крыму, мурашки золотые и серебряные. Такое никогда не забывается. Был постный день, но старцы нас попотчевали винцом церковным, свежим хлебушком, позабыл, чем еще. Говорили о том, что природа чуда явно связана с любовью к верующему человеку его ангела-хранителя, а любви все возрасты покорны, и о красотах Святой земли.

– А было в вашей жизни то, что понимаете как ошибки?

– Самые важные ошибки: покупка в 79-м новой «тойоты», просто седана без кондишера, а не хетчбэка. Затем во время нашего первого путешествия по Штатам в Ванкувере на горстоянке у нас стырили «форд-торэс» и сожгли его какие-то крысы поганые, полно которых и в Канаде.

И покупая новый еврофольксваген, я, мудака, не вспомнил о дизеле.

Такие вот ошибки, а за все остальное судьба и Ангел, надеюсь, на меня не в обиде.

– А какие жизненные случаи, вспоминаясь, вас забывают?

– Вот, Сергей, пара удивительнейших случаев в моей жизни. Ира придумала название нашей фирмы: «Писатель-Издатель». Я сам издал пару своих книг – было кому бодануть скромные их тиражи.

Однажды в Нью-Йорке прихожу в книжный маг «Черное море» – получить кое-какие денежки. Жанна, хозяйка, тут же говорит: «О, Юз, подпишите дюжину ваших “Рук!” Очень прошу!» Отвечаю: «Всегда!»

Подходит ко мне дама средних лет. Прибарахлена дорого, но безвкусно. Лицо ее явно привыкло к немедленному выполнению всех ейных желаний. «Разрешите, – властно говорит, – вас поприветствовать». «Всегда!» – весело отвечаю и всей группе даю автографы. Пожимает она мою руку по-мужски, то есть ужасно крепко, и тут же объявляет: «Сейчас, товарищ Юз, НАМ дважды очень важны все ваши книги, спасибо за данную “Руку!”».

До сих пор хохочу, вспоминая. Тогда началась перестройка. Вскоре «Шансон» зазвал меня выступить в Кремле. Я рот раскрыл от неожиданности, захлопал ушами, – тут же потряс меня смех, перешедший в нервозный хохотунчик. Выходит дело, я, злобный антисоветчик, ярый враг недоразвитого социализма, и зовут меня такого исполнить – между прочим, не в баре, а в Кремле!!! – песенку про большого ученого и «Окурочек», гитара – мой друг Макара. Мы славно выступили, народ нам «бурно поовачил». Вручили что-то тяжелое и бронзовое. Все это чертовски удивило. А вообще-то я умею смеяться даже при неудачах и зряшных попытках депрешки вывести меня из себя.

– Вас иногда сопоставляют с Лимоновым из-за того, что вы оба легко и вольно внесли в прозу табуированную лексику.

– Сопоставление узковатое и не точное – мы разные. Мне еще в Москве крайне неприятна его вертлявая личность. Общений с ним чуждался, точней, никогда я с ним не поддавал. Всегда называл великим цитрусским поэтом. Его бесстрашный «Эдичка» был отличным образцом свободного, настежь распясанного романа.

Опять-таки его личность чем-то напоминала мне Смердякова, который приобрел пишмашинку «Вундервуд» (намеренно называю ее так).

– А как вам мода на политкорректность?

– Всегда был, буду феминистом, но считаю туполицую очумевшую, чрезвычайно агрессивно ведущую себя политкорректную, весьма похожую на разжиревшую евтухину, – заведующую отделом по давно назревшим проблемам секса, – считаю ее началом энтропии всех благородных общественно-политических, не только личных, но и старинных, благородных принципов существования, пардон, существования. Политкорректная – прямо у нас на глазах – уже привела человечество к войне полов, войне нелепой, лицемерной, уродливой, неслыханно алчной, опасно самоубийственной для разнополого человечества. Кстати, быстро превращающей некоторых шустрых дамочек в артистичных шантажисток.

– Я слышал, что к вам очень тепло относилась Дина Верни, натурщица, певица, галеристка...

– О, ее звонок начальнику полиции Вены тут же открыл нам дорогу в Париж. Мы дивно подружились, гостили в ее замке в Рамбуйе, я даже наставлял Дининого повара, как замастыривать борщ чистой пробы. Вместе пели, шутили. При каждом ее визите в Нью-Йорк приезжали к ней в отель. Бывали в огромном доме возле Сен-Жермен, где Дина открыла потрясающий музей Майоля. Чьих только не было в музейных экспозициях картин и скульптур!

Дина незабываема.

– В 1980-м «Николай Николаевич» вышел в США. С тех пор у вас вышло множество книг. А вы себя перечитываете?

– Ну, как не любить первенцев – «НН» с «Кенгуру»? К паре романов отношусь с чем-то похожим на легкий холодок, а некоторые свои книги горячо и памятно обожаю. «Карусель» начал чирикать уже в венском отеле и до сих пор удивляюсь, что как-то попахивает от этого сочинения кирзовым соцреализмом, ненавистен мне который.

Пару лет назад, перечитывая «Перстень в футляре», так я взволновался, что измерил давление, обычно нормальное. Пожалуйста: впервые в жизни 220 на сколько-то, плюс крайне неприятные в сердечке композеры Аритмиев с Тахикардиевым, то есть зазвенели все-то вы мои колокольчики-бубенчики.

Барин, приехали – старость!

Хочу смело перечитать роман «Рука», вдохновила на который Ира, иногда и.о. шибко ветреной моей Музы.

– Тогда о ней и спрошу. Вашему браку исполняется аж сорок пять лет. Что это за роман? Знаю, что Ирина – профессор-славист...

– В апреле 76-го года мы с сыном Алешей полетели в Коктебель, в ДТ писателей. Он учился плавать, а мы с одним замечательным поэтом валялись на песочке и весело болтали. О волшебствах поэзии, порой о поразительно абсурдных уродствах «развитого социализма» и о разных радостях-печалях жизни на Земле.

Так вот, однажды он сказал: «Сам я вскоре сваливаю в Москву, а ты займись Ирой – она, поверь мне, лучшая в ДТ девушка». В тот же день меня познакомила с ней приятельница Наташа, большая курилка, поэтому и говорившая о том и сем с очаровательнейшей хрипотцой.

Ира была в длинном, до пяток сарафане, а ее лицо поражало «распутившимися» на нем усталостью и тоскливым унынием. Вокруг нее крутился-вертелся премилый малыш. Я и сам после развода – оказалось, что был наш брак нелюбовным – порядком приуныл. Истоиво молился за милостивое ниспослание всевидящих Небес ну хотя бы чуточку откровенной любви такой-сякой судьбе моей невезучей. Более чем странно, но в момент знакомства я заметил в чертах лица Иры, на переносице, месте вообще-то мало когда выразительном, даже если оно принадлежит министрице культуры Фурцевой или принадлежало лупоглазой супруге самого величайшего изо всех прошедших по Земле людей, как писал из-за страха перед дружками с Лубянки Маяковский, в прошлом как-никак большой и бесстрашный футурист... Так вот, заметил я почти незаметное сходство милого лица Иры с сурово бородатым «портретом» Феликса Дектора, крестного первой моей книги, сблизившей меня с Прекрасной Дамой – с судьбой всей моей жизни, литсочинительства и, конечно, с верной, порою своенравной Музой, наставницей перышка, голоса, воображения, свободно выражающего сюжеты разного рода абсурдов и фантазмагоричной совковой действительности.

Помню, тогда я что-то брякнул насчет микросходства и оказался прав: Ира – дочь Ф. Д., Данила – его внучок.

Вскоре замечательный поэт улетел на крылатом своем Пегасе в столицу, а мы, то есть Ира, Наташка и я, начали каждый вечер гулять по прибрежной до-

рожке. Непременно останавливались у палаток с кайфовыми крымскими винами, тем более креплеными. Мадера, херес – жизнь моя, иль ты приснилась мне!

Я читал девушкам главки из только что начатого романа «Кенгуру». Мне было по душе, что они не только хохочут из-за фраз вроде «Прекратите чесать яйца, разговаривая по телефону с офицером контрразведки!», но и серьезно воспринимают разного рода откровенно антисонькину нецензурщину.

Однажды сели на скамеечку – отдохнуть подуставшим конечностям. Посидели, поболтали. Тогда до меня еще не дошло, что чудесные смыслы многозначительных мурашек, пробежавших по телу и душе, – следы нежнейших крылышек моего ангела-хранителя, денно и ночью неустанно трудящегося, от чего острее зачесалась точка промеж лопаток. Потереть бы обо что-нибудь по-конски, по-слоновьи, черт побери, хотя бы по-кошачьи ничтожную точку, с настырной сладострастностью истязавшую мои нервишки невыносимой чесучкой, – на скамейке не было спинки с уголком.

«Ира, умоляю, пожалуйста корябните ноготками промеж лопаток!»

Она и корябнула – чесучка враз пропала. Немного погодя Ира тоже буквально застонала: «Корябните и вы меня!»

Что я и сделал, подумав о странности таинственной синхронности ряда совпадений и таких вот, не скрою, чудесных прикосновенок. И именно они, прикосновеньки, – слава Всевышнему и всем Его Ангелам! – на всю, как говорится, жисть, подарили нам обоим драгоценнейшее из чувств, опять-таки, небесных и земных.

Мы с Ирой враз втрескались... я вдруг почувствовал такой какой-то бытийственный, необъятный, глубочайший душевный покой, – на века, навсегда, до конца, никогда мне не снявшийся...

Да, с тех пор прошло 45 лет.

Нынче я, изредка бреясь и сдувая мыльную с губ своих пену, не размышляю праздно, как один знакомый философ, о сущностной природе любви вселенской и земной. Меня совершенно не достает то, что явно божественные ее смыслы почему-то не укладываются ни в одну из великих формул, вроде эйнштейновской, в себя вместившей закон высших сил и матушки-природы.

Поэтому блаженно мурлычу, бреясь, простенькие до слез строки эстрадной песенки, ну и заодно глаголю по-младенчески: «Что такое любовь? – это встреча, на века, навсегда, до конца»...

Меня устраивают и беспредельно смелое определение эстрадной песенки, и теологическое истолкование основ великого явления любви, постоянно крепнущей, как выдерживаемый массу лет коньячок, – общее для нас обоих чувство счастливейшего родства душ наших бессмертных и, надеюсь, временных тел, снова узнавших друг друга в очередной жизни, может быть, на Земле, а и на другой Планете... такая вот есть у нас сказка – чудеснейшая из всех остальных.

Словом, Ира, совершенно правильно не откладывая на завтра, то, что можно сделать сегодня, пришла ко мне однажды – вернула книгу о моем самом любимом художнике, о Босхе...

С того июньского дня и началась наша, так сказать, супружеская любопея – ей до свадьбы золотой осталось 5 годочков, – неплохо было бы дожить!

В сей момент че-то вспомнился анекдот, сам который я придумал. Петька разбудил Чапаева и говорит: мы тут с Анкой, как грицца, разрешили тройку научных вопросов социализма личной жисти на природе, устали, прям как в бою, лежим вот, перекур, сиречь мечтаем: что же будет со странюю через двадцать лет? «Тридцать седьмой, дубина ты, год наступит!» – «Эх, дожить бы, Василий Иваныч!»



Кроме шуток, приятно, нисколько не девальвируя ценностей признаний, часто говорить друг другу, как это водится в Штатах: «Ай лав ю, ай лав ю, ай лав ю» – слова сердечные улажают, разрешают досадливые бытовушные проблемы, освежают нервишки, как в жару кружка колодезной нашей водицы – одна на двоих.

– Чудный рассказ о любви. Неужели никогда не ссоритесь?

– Бывали, изредка бывают и у нас мелкие стычки, никогда не достигающие до крупных разборок, битья посуды, бросанья в печку тапочек моих истоптанных и т. д. Если же ссоримся из-за какой-нибудь хрени, вдруг наступает пугающая, ясно, что для Иры и меня, весьма опасная в нашем радостном жилище многозначительно обидчивая тишина.

Тогда я, с понтом джентльмен врожденный, стараюсь, перегнав подругу, бестрашно ей сказать: «Ирочка, птичка моя, я начисто виноват, был груб, козел безрогий... но я за все тебя прощаю навсегда!»

Смеемся. Я прощен. Конфликт исперчен. Жизнь воздушно легка и благообразна, ура солдатке и солдату счастливого брака.

Если бы вусмерть упертым главам авторитетных сверхдержав сообщала блеснуть на очередном ихнем гребаном саммите такой вот бесподобной ядерно убойной дипломатией и, так сказать, дружно записать – непременно на брудершафт – едва-едва не запыхавшую мировую бойню, то планета наша охотно отдохнула бы от вражды этносов, религий, культур и прочих видов глупых фокуснических противостояний неразумных двуногих гомо сапиенсов с самими собой, к тому же на «фактички» цирковой, опасно шаткой мировой арене.

– «Кыш и я в Крыму» – ваш детская книга, и именно Крым, получается, вас свел с Ириной.

– Крым безумно любим и уважаем. Да, он – роддом нашей с Ирой чудесной встречи на века, навсегда, до конца.

Когда большой придурок и отъявленный волюнтарист просто взял и посреди белого дня фактически стырил, верней, оторвал от России целый полуостров, здравницу ее, жемчужину земли, народный дом культуры и отдыха, шокированная наша страна молчала в тряпочку, словно оглоушенная. В те времена любой публичный протест означал: ей – психодром, ему – тюрягу, остолбеневшим коммунакам – партбилеты, козлы, на стол, пятая колонна, мать вашу так и этак, руки прочь, понимаете, от вождя родной нашей с вами кукурузы, ума, чести и совести партии, взятых вместе с дружбой народов!..

Словом, мечтаем с Ирой побывать в Коктебеле.

– Перечитал ваши ответы и в который раз вижу, что вы сочетаете блатную и простецкую речь с виртуозными собственными изобретениями, даже филологическим экспериментами.

– Уверен, что любовь мою к строчкам стихотворным определила встреча в полиграфическом техникуме с опытным уже поэтом Генрихом Сапгиром, ну и с башковитыми ребятами, не похожими на дворовых остолопов, разных прохиндеев и прочую шпану, мало сам я отличался от которой, – главное, из-за пробудившегося в моем существе Дара Божьего.

Тем более я, всегда обожая Пушкина, помнил и бубнил разные строчки его сказок – волшебных, алмазных, будивших дремавшее в башке воображение.

В общем, я возлюбил складывание буковок, словно бы оживавших от моих к ним пока что неосознанных прикосновений. «Ямбы, хорей, анапест, дактиль!» Потом буковки радовали меня, как первые ростки огурчиков на мамашинем дачном огорошке, затем превращались в глуповатые, ужасно наивные, неумелые, младенчески корявые строчки, тарашившие глазки-буковки на меня – своего гиперактивного папашу.



Позже, когда большие филологи хвалили меня за хитромудрую ироничную песенку о чудовищном тиране или за своеобразие повестушки «Ник Ник», я искренне пояснял, в чем не было ни вируса кокетства: «Это я отдаю небесам поживенный должок за Дар Божий».

– Из, спрощу совсем просто, предчувствуя непростой и глубокий ответ. А о чем вы чаще всего размышляете?

– Конечно, размышляю о всяких разностях, проблемах, настроениях общества и вообще о том, что приходит в безбашенную мою бестолковку. Так вот, недавно, вернувшись из Флориды, где мы объегорили зимушку, качаюсь в гамаке, а вокруг – жисть, весна, распелись птички, набухли почки на веточках сирени, двадцать лет назад мною посаженной, дай ей Всевышний цвести еще аж полвека, тепло, качка не убаюкивает, наоборот – взбадривает. Если б, размышляю, не всесильная гравитация, ты бы, философ хренов, качнулся и подзалетел прям на верхотуру столетнего дуба. Нарциссы-то, думаешь, небось не сами себя сделали похожими на элегантных аристократов, а анютины глазки изумительно разукрасила не природа, но ангелы художественных дел; они же, будучи мыслями Бога обо всех и обо всем, сообщили разноцветным гиацинтам такой одурманивающий аромат, что равного ему эпитета – хрена два отыщешь в умнейших словарях.

О чем размышляю? Сей вопрос мне, злостному недоделку и придурку, как полагали учителя и завучи школок, из которых меня постоянно вышибали, никто никогда не задавал; наконец-то я получил желанный волчий билет и сам себя спросил: «Что делать?» Подумав, в отличие от Чернышевского и Ленина, что ни фига не поделаешь, поступил в школу рабочей молодежи, нормально учился, читал много чего интересного, а не думал, как хитроумно сгношить рупь-другой то на мороженое, то на семечки, то на самые дешевенькие папироски или на киношку, которую, прогуливая, смотрел который раз.

Так что мне больше приходилось шляться, а не размышлять о коммунизме, который уже не за горами, где вскоре на халяву будет все, что пока недостижимо. К тому же я слишком поздно узнал, что являюсь не придурком, не недоделком, а весьма сообразительным «гиперактивистом», порой неукротимо буйным, иногда уныло погруженным в явно преступные замыслы, как бы позловредней подгадить передовому человечеству. Так думали и родители, и папаша, вернувшийся с войны, само собой бывшие мои учителя и дама, зав. детской комнатой в ближней легавке, то есть в милиции.

Нисколько не жалею, что мое детство было таким, каким было и, если бы тогда дошло до тетя и дядя, что я не придурочный прохиндей и неизлечимый шухерила, а всего лишь временно гиперактивный чудила... но тогда еще не было каликов-моргаликов от проклятого недуга моей, в основном, веселой, не хмурой персоны.

Словом, однажды дух, живший во мне, как сам я ранее бодрствовал в мамочке, – ожил дух! – и я начал превращаться в совсем другого человека, в чувака, не знакомого ни родителям, ни соседям по коммуналке. Я еще не умел размышлять, но читал без разбора сочинения разных мыслителей. Читал даже Маркса, Ленина, Бердяева, Паскаля, чумел от романов Достоевского. Папаша щедро отваливал мне бабки на книги философов, хотя ихних доктрин и изворотливой логики – ни черта я еще не понимал, однако заглатывал с огромным удовольствием, как и популярную литературу о физике и прочих науках.

Мои стихата становились техничнее и образней. Вскоре сочинил пару гусарских поэм – хулиганистых, весело похабненьких и вздорных. Жалею, что пропали обе. Недавно напел Ире пару частушек – обожаю сей народный жанр. Кстати, покойный Жозеф (Бродский. – С. //) тоже восхищался такими вот перлами деревенского фольклора:

*Ах, Степановна  
в пруду купалася,  
большая рыбина  
в ... попалася.  
Большая рыбина  
да шевельнулася,  
а Степановна да улыбнулася.*

Вот еще шедевр народный – он, считаю, выше поучения Толстого – насчет неминуемого наказания за грешное сладострастие:

*Ех, выйду я на рельсы  
на самую середину –  
пущай отрежет паровоз  
сукиному сыну.*

А вот пара моих частушек:

*Ты моя черемуха,  
ландыш и сирень,  
помнишь, курькались как  
каждый божий день?*

*Тридцать градусов жара –  
мне подружка не дала.  
Завтра, сучий мир, уволюсь –  
повезу ее на полюс.  
А уж на крутой, на льдине,  
отомщу капризной Зине.*

*Вы скажите мне, нарциссы,  
Ответьте, гладиолусы:  
Как же так, что на залупе  
не вырастает волосы?  
Тех, кто в этом виноват,  
надо бросить прямо в ад  
без суда и следствия, –  
это ж просто бедствие.*

Короче, люблю сидеть в саду, Иррой опекаемом, покачиваюсь на гамаке, о том о сем приятно размышляя.

К примеру, о том, что первоначальное Слово просто никак не могло быть беззвучным. Именно звучанье того Слова и стало первосферой музыки, давно уж ублажающей весьма нелегкую жисть «всех прошедших по Земле людей».

Или думаю о том, что природа мелодии – гармоническая протяженность прекрасного мгновения, остановленного самим собой. Или о том, что форма – любимое дитя всемогущего Времени, граница жизни романа, поэмы, картины, скульптуры, стиха, симфонии, – спелых плодов всех искусств.

Покачивался по весне в гамаке, смотря, как Ира заключает анютины глазки в круглые «камеры» с черноземом, и почему-то в башке промелькнула формула Любви.

*«I + I = I»*

Вообще-то, мыслителем считать себя никак не могу. Просто охота копнуть поглубже, тем более меня всегда смешат слова покойного Бродского: «Метафизик от сохи».

Никак не могу дочирить «Слепого Ангела» – тормоз почему-то заклинило. Себячу, как паровоз, некогда поспешно летевший вперед – на вечно халявную парковку посреди железобетонных асфальтов коммунизма, но вдруг заехавший на ржавые рельсы тупика имени ЭМ, ЭН, ЭЛА и друга ядерной бомбы – «лучшего генералиссимуса всех времен, всех народов, дорогие товарищи!».

Частенько вновь и вновь задумываюсь, пожалуй, о самой величайшей из всех «непоняток» умопомрачительной истории разумных-неразумных двуногих. То есть, раскачиваясь, пытаюсь понять: что же / кто же, елки-зеленые, может быть в конце-то концов неиссякаемым источником зла в пока что лучшем из миров?

Имеется масса версий у философов, физиков, историков, химиков, микробиологов, астрофизиков и гениальных поэтов. Имеются бесчисленные виды бесчисленного зла – нет его краткой, подобной эйнштейновской, умпостигаемой формулы, – но неистребимое зло по-прежнему злорадствует, плюя на кровь и слезы «терновых венцов творенья», как говорит Ира – большая жизнелюбка.

Кстати, иногда она меня удивляет, да и смешит тоже, такими, например, мыслями: *«Некоторым людям очень важно уметь принимать действительное за желаемое».*

Я рад: Ира разделяет мою уверенность в том, что ангелы – это мысли Бога. Их хватало и хватает на сотни миллионов двуногих, да на природное хозяйство планеты, ими же гнусно разрушаемое дымами, мусорными пластмассами, разливами нефти, уничтожением многих видов растений и животных и прочими несуразными безобразиями уродливого зла.

Мне кажется, если крышу не сорвал ураган самонадеянности, причинной сутью зла и источником массы злодеяний может быть только разум человека – один он.

О, конечно, он велик, а до его могучих свойств бесконечно далеки слоны, тигры, киты, орлы, даже обезьяны – все звери и домашние животные; к тому же разум всегда готов измышлять различные ИДЕИ, зачастую смертельно ядовитые; осмеливаюсь сказать, что трагедь-то в том, что разум двулик – и это очевидно. Он или восхищает человека полезным у-добрением жизни на Земле, или выдумывает черт знает что, главное, прямо у нас над носом, наделяет гомо сапиенсов чудовищной озлобленностью на братьев по виду, да и на самого себя тоже, на Всевышнего, на все его высшие силы, на само бытие.

Кроме того, нагло присвоил богоподобие, шулерски подставив вместо себя мифологизированного дьявола, что стало, пожалуй, самой хитромудрой подставой и невероятной аферой в истории одурачивания двуногих. Так как никакого дьявола никогда не было, нет и не может быть никогда.

Отсюда – из-за роковой, неизвестно как возникшей двуликости разума, – происходят все виды добра и нечистого зла, проблемы любви-ненависти и наши трепыхания в паутине привлекательных мифологем.

С ними, в «Братьях Карамазовых», задолго до доктора Фрейда, начал разбираться великий писатель и мыслитель.

Так что, повторяюсь, слава богу, что ни у одного из диких животных, как и у домашних, нет двуликого разума!.. Их бог и царь – инстинкт.

Мною похожую на правду гипотезу было бы весьма полезно преподнести всем школьникам – от первоклашек до выпускников, насочиняв поистине воспитательных учебников человековедения, помогающих не гадать, а привыкать думать, чтоб с детства знать все насчет первопричин добра и зла.

Не могу не вспомнить еще одну мою шибко безумную гипотезу. Лично мне она облегчает жизнь, несмотря на ее бездоказательность, и, как это ни странно, укрепляет спасительное чувство веры в... тут почтительно кочую, а большой палец моей правой руки целенаправлен в небеса.

Я так же, как множество других двуногих, частенько слышу горькие упреки ко Всевышнему и вопли недоумения насчет того, чего ж ты там, Всевидящий и Всеслышащий, не упас сыночка-то от сверхдозы дури... не вылечил рачок мужниного желудка... не удержал дочурку от грешного симона-гулимона, померла она в гареме крокодила нефти... Господи, в конце-то концов, бесчувственный ты, что ли?

И однажды я просто не мог не подумать, что Вседержитель и все его Силы ни в коем случае не могут быть органическими (нет другого слова) существами вроде нас.

Он и Они ничего не способны чувствовать, а ангелы – это действенные, но тоже бесчувственные мысли Бога. Все органическое так и этак со временем погибает. Но сам Творец всего сущего, даже если б он захотел, не в силах был бы взять и, так сказать, свалить в миры иные – подальше от наших бессмысленных сюрреалок и мудацких утопий. Он понимает все вместе взятые науки, гордится нами, Им же сотворенными не за успехи тел в фигурном катании и не за тонны ежедневно выкуриваемых сигарет, не за всякие рекорды, естество, не за мировые боины, сверхскоростные ракеты и количества убийственного оружия на душу населения планеты, – но он и его ангело-мысли больше всего остального обожают наши искусства и юмор человеческий, часто необъяснимый, всегда весело торжествующий над логикой формальной.

Словом, однажды мне подумалось, что Творец как-то по-своему, то есть творчески, сотворил массу бесподобных видов жизни на подходящей для этого Земле, а затем, затем доверил матушке-природе величественно свободное саморазвитие всего и вся живущего на ней, жаль, что во главе с шибко башковитыми двуногими.

– Идея преподнести вашу гипотезу – первоклашкам и выпускникам – это уже, по-моему, возвращение к литературе для детей и юношей. Ну что ж, по-моему, и все это интервью, созданное по мейлу, есть литература. Еще одно произведение Юза Алешковского.

– Благодарю, Сергей, – автору всегда по шерсти, когда сочинения одного вызывают интерес, а не отвращение. И спасибо, что растрясли мою бестолковку. Вроде бы и роман на другой бок перевернулся, хотя свои дзенки еще он не продрал.

Письменные ответы на вопросы – отличная форма для свободной беседы, состояние какой-то зависит от нас обоих. И простите мне намеренное неуважение к знакам-препинакам в такого рода записках.

И кстати, рад, что вы подняли журнал на высоту его достойной юности – из состояния скучноватого увядания.

*Полная версия интервью доступна на сайте [unost.org](http://unost.org)*

